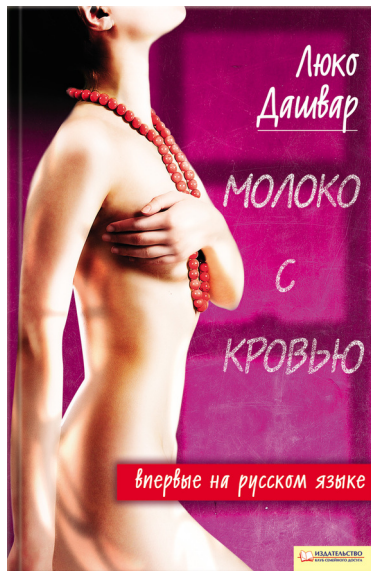




Люко Дашвар Молоко с кровью

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9091046

*Дашвар Люко Молоко с кровью: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Харьков, Белгород; 2010
ISBN 978-966-14-1532-3, 978-966-14-0799-1, 978-5-9910-1174-7, 978-966-14-1531-6*

Аннотация

Какое счастье – встретить свою половинку и полюбить! Когда душа взлетает до небес, когда понимаешь: вот твоя судьба...

Первой красавице на селе Марусе-румынке под стать Лешка – умный, красивый, успешный, – жить бы им, как королям. И какое дело ей до соседа, щуплого рыжего Степки-немца в поломанных очках? Вот только почему-то по ночам ходит он к сиреневому кусту возле Марусиной хаты, и каждый раз она открывает окно...

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	18
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Люко Дашвар

Молоко с кровью

Дипломант конкурса романов, киносценариев и пьес «КОРОНАЦИЯ СЛОВА – 2008»

Победитель конкурса «Книга года Би-би-си – 2008» украинской службы британского радио Би-би-си

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

© И. Чернова, 2010

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2010, 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2010

Пролог

Весной две тысячи седьмого в роскошных лондонских апартаментах бизнесмена, а следовательно, и политика Алексея Ордынского разыгралась патриотическая драма. Дочь Руслана – умница-красавица (IQ зашкаливает!) и вообще чрезвычайно стильная штучка – пожелала родной земли.

– Леша, купи ей родной земли! – не меняя выражения лица, чтобы не испортить результатов пластической операции, попыталась пошутить жена Ордынского Елена.

– А это идея! – загорелась барышня.

– Что ты там забыла? – буркнул отец.

– Построю гольф-клуб или приют для животных. – Мечты обретали реальные очертания.

– Это можно сделать где угодно! В Испании или тут, в Лондоне. Я спросил, что ты забыла в Украине?

– Любовь...

Родители переглянулись – ребенок, что с нее взять?! В свои шестнадцать они тоже болели максимализмом и любовью к Отчизне. Хорошо, что капиталы Ордынского позволяют найти более привлекательные альтернативы причудам Русланы.

– Самостоятельности захотела? – уколол Ордынский единственное любимое дитя. Спрятал пряник, вспомнил о кнуте. – Так попытайся любить Отчизну на расстоянии. Чем не испытание для взрослого человека? Непростая задачка, скажу тебе. Я сам...

– Папа... Ты меня не слышишь! – В глазах Русланы загорелись огоньки откровенного неприятного удивления. – Хватит решать за меня. Я стремлюсь самостоятельно добиться всего, чего пожелаю.

– А такое существует? Существует что-то, чего у тебя нет? – напомнил отец о собственных заслугах в сладкой дочкиной жизни.

– Шантажируете? Я тоже могу! – ошеломила родителей барышня и на два дня испарилась из дома.

На третий день полиция привела перепуганных до смерти супругов Ордынских в запущенный ночной клуб, и тяжелые силиконовые уста госпожи Ордынской не удержались вместе, потому что как увидела матушка доченьку в задней комнате клуба на полу среди десятка неформалов, так у нее челюсть и отвисла.

– Руслана! – Ордынский горько вздохнул и попытался поднять дочку с пола.

– Подожди! «Рояль»... нужно... проглотить, – отмахивалась Руслана и все старалась пошире раскрыть рот.

– Что это? – спросил Алексей у доктора, которого срочно вызвали к дочери.

– Галлюциногенные грибы, – сказал тот и вежливо улыбнулся. – Не волнуйтесь. С ней все будет хорошо.

– Господи, как же меня раздражают их бесконечные «все будет хорошо»! – заломила белы руки Елена, когда доктор ушел.

Руслана открыла глаза и упрямо проговорила:

– Я перепробую все лондонское дерьмо! И буду делать это до тех пор, пока вы не отпустите...

– Пусть едет! И ты с ней! Присмотришь, – пробормотал Алексей жене ночью и натолкнулся в темноте на глиняную маску, которой Елена всегда покрывала личико перед сном, да иногда засыпала раньше, чем нужно было смыть глину.

– У меня процедуры, – отрезала жена. – А сам?

– Дела...

– Отправим с ней охранника. Двоих! – предложила жена, отковыривая от лица куски глины.

– Троих! – решил Ордынский.

– Четверых! – настаивала заботливая мать. Добавила: – И купи ей земли, в конце концов! На семнадцатилетие. Отличный повод. Ты подумай: бриллианты теряются, машины разбиваются, а земля – что бы Руслана ни придумала – останется. Со временем ее можно будет продать дороже. Пусть ребенок поиграет в самостоятельность.

Следующим утром родители уселись у постели дочери и торжественно объявили: на день рождения, в августе, Руслана сможет выбрать и купить себе участок земли. В Украине. Выбирать поедет сама. С охранником. Двумя... Тремя...

– Четырьмя! – напомнила Елена мужу и спросила дочку: – Ты довольна?

Девушка подпрыгнула на постели, расцеловала родителей.

– Мечты сбываются, нужно только не сдаваться и не опускать рук! – И это на полном серьезе. – Я выберу место недалеко от города – романтический, почти шевченковский пейзаж, песни, легенды... И сделаю там... – неожиданно рассмеялась. – Еще не решила, но знаю точно: в этом несовершенном мире станет больше гармонии. Вот увидите!

– А как же Том? – осторожно поинтересовалась Елена.

– А Интернет зачем? – ответила Руслана, вспомнив, как долго уговаривала аристократа Тома отвести ее в самую отвратительную клоаку, чтобы насолить предкам.

В начале августа барышня с наивными детскими воспоминаниями десятилетней давности и четырьмя охранниками прибыла в Украину и лоб в лоб столкнулась с мечтой. День – бросить вещи в родительской квартире в центре города, второй – поблагодарить папиного партнера за «ауди» с водителем, а на третий – за дело!

За неделю Руслана осмотрела все городские окраины в компании охранников и бодрого агента по недвижимости. Ей непременно нужен был земельный участок в пяти, максимум в десяти километрах от города, потому что углубляться на сто барышня не собиралась, даже ради мечты.

– Ну... Уж и не знаю, что вам предложить... – удивлялся агент по недвижимости причудам юной клиентки. – Разве что Ракитное... Наше агентство в свое время выкупило там один очень любопытный объект.

«Ауди» добралась до Ракитного в полдень. Руслана вышла из машины, огляделась и загрустила: от обочины асфальтированной дороги в степь тянулись новостройки, масштабами и дурной архитектурой похожие на декорации к фильму в стиле хоррор, а среди них, как старухи среди пафосных старлетов, жались друг к другу несколько старых сельских хат.

– Что это? – поразила девушка.

– Было село. Но скоро превратится в коттеджный городок. Очень... Очень перспективное место! Вы только вдумайтесь: откроете гольф-клуб – клиенты рядом! Пожалеете с животными цацкаться – они вам своих Шариков подкинут. – Агент показал на новостройки. – И вообще... В народе говорят: не покупай дом, покупай соседей. Вы понимаете? Тут очень... очень уважаемые соседи.

– И что здесь продается? – застряла в миноре Руслана, и агент повел ее по улице к двум старым хатам, одна почти напротив другой.

Сначала барышня вошла во двор большого, перестроенного дома со старой вишней под окном и сухим сиреневым кустом за забором.

– Тут земли – шестьдесят соток, огород выходит в степь, – накручивал агент. – А степь – то есть поле – можно арендовать. Хоть гектар... Хоть десять...

Руслана скептически надула губки.

– Мне хотелось, чтобы место было романтичным... Понимаете? Окутанным легендами.

– Есть легенда! Есть! – оживился агент. – Спросите кого угодно из местных. За селом два ставка. То есть... Бывших ставка. Лет сто назад прекрасный юноша полюбил прекрасную девушку, но родители... Жестокие родители были против, и тогда юноша заплыл на самую середину ставка и утонул.

– А она, конечно, утопилась во втором ставке? – еще более скептически предположила Руслана.

– Конечно! – серьезно ответил агент. – И после этого ставки заросли камышом, превратились в болота. Говорят, будто бы влюбленные не хотели, чтоб искали их тела...

– Их не нашли?

Агент почуял слабинку.

– Нет! И с того времени... С болот, – выдумывал он поспешно, – слышится прекрасное пение...

– Пение? Какая ерунда! – Барышня вмиг потеряла интерес к фольклору.

Агент вздохнул – перебор!

– А вторая хата? – командовала Руслана. – Хочу посмотреть вторую хату.

Вышла со двора, стала на улице под сиреневым кустом, мол, показывайте, куда идти. Агент смутился, показал на хату с большой старой лавкой у забора.

– Относительно легенд... Ту, другую хату смотреть не советую. Там произошло кровавое, страшное, зверское убийство. Несколько лет тому назад. И с того времени хозяйка как ни старается, а хату продать не может. Суеверные люди говорят: в ней живет какой-то дух, связанный с... Не припомню точно, но с какой-то страной – не то Францией, не то Бельгией...

– Господи! Что за чушь! – оборвала его Руслана и уже сделала шаг на раскаленный асфальт, как вдруг в конце улицы появился мощный мотоцикл, промчался мимо компании, обдал всех горячей пылью и остановился возле хаты, которой агент только что пугал Руслану. С новенькой «хонды» соскочил парень в шлеме и пошел во двор.

– А это что за... – Руслана отряхивала пыль с новенького платья от Стеллы Маккартни и возмущенно смотрела на хозяина «хонды». – Нахал!

– Не обращайтесь внимания! Не обращайтесь! – завокнулся агент. – Парень – не из местных. Случайный гость. Вообще-то люди здесь очень гостеприимные.

Руслана обернулась к хате с сиреневым кустом.

– Не могу объяснить... Но это место напоминает мне о чем-то кровном... Наверное... Наверное... Я остановлюсь на этом доме.

Агент просиял:

– Выбор сердца! Прекрасно! Прекрасно! Сердце всегда улавливает невидимые информационные потоки Вселенной, влияющие на нашу жизнь.

– Еще скажите, что курица, которая лет шестьдесят назад греблась на этом дворе, тоже повлияла на мою жизнь! – отрезала Руслана.

Глава 1

Румынка и немец. Ясное утро

Всему виной – курица-пеструшка. Крутилась бы около петуха, не лезла бы в кусты – и, может, все сложилось бы иначе. А так... Еще покойная баба Параска была нелогично лояльной к пеструшкам – все они умирали своею смертью, вместо того чтобы с перерезанным горлом в кастрюле вариться. Что она о них такого особенного знала?

Тем летним утром солнце словно заблудилось – все не всходило, и беспокойные куры во дворе вдовы Орыси только напрасно суетились, стараясь наугад отыскать что-нибудь съедобное. Хозяйка выпустила их в серый туман на рассвете, а сама хозяйничала в доме и во двор не выходила.

Пеструшка – рыжая с черным и белым – бросила бессмысленное дело, заторопилась в смородину и аж шею вывернула – ты глянь: в траве под кустом краснеет большая гладкая, как отполированная, ягодка. Не иначе вишня-черешня. Пеструшка немедля клюнула находку – и кудкудахнула от боли: красная приманка оказалась твердой, как камень. Пеструшка не сдалась. Крутанула головой, словно сто кур со всех сторон уже мчались отбивать у нее красное сокровище, и снова клюнула – мое!

Тем временем вдова Орыся с миской в руках вышла на порог, улыбнулась восходящему солнцу. Тихо... Пятый год тихо, нет войны, а она вот каждое утро выходит на порог и прислушивается, словно мир вдруг может потемнеть от дымных пожарищ и будет бить черным в глаза, уши заложит от грохота близкого боя и она изо всех сил будет стараться услышать что-то важное и спасительное, но так и не услышит, сгинет, а ей же никак нельзя – маленькая Маруська в кровати сладко сопит, на кого ее... Тихо... Пожить бы... Осенью – двадцать шесть, коса – как кнут, руки сильные, глаза не погасли, сердце счастья просит. Тихо... Вроде тихо...

И пошла к кормушке.

– Цып-цып-цып...

Куры заспешили за женщиной, только пеструшка упрямо долбила клювом красную находку под смородиной.

– А ну все до одной ко мне!

Кур пересчитала, оглянулась – что там пеструшка под кустом нашла? Отогнала. Под смородиной присела.

– Это ж надо... – улыбнулась, красную ягодку-бусинку из травы вынула, росу обтерла, на раскрытую ладонь положила. – А я и не надеялась...

Бросила бусинку в карман. И пошла в дом.

В открытое окно заглядывало любопытное солнце, словно спрашивало Орысю – и как ты тут проживаешь? А она бы каждому в первую очередь диван и шкаф показала.

Диван кожаный, спинка с резной деревянной полочкой и зеркалом. Даже немцы с румынами, когда в войну в Орысиной хате на постое были, и те языками цокали – мол, до чего же изысканный диван завелся в обычной сельской хате. Рядом с диваном – шкаф платяной. Тоже с зеркалом во весь рост. Орыся две жизни горбатилась бы без передыху, а все равно на такую роскошь не заработала бы. Все – бабушкино, царство ей небесное.

Еще есть стол. Сама из досок сколотила. Два табурета и кровать с панцирной сеткой.

Орыся вошла в комнату, достала из шкафа коробку из-под конфет, присела к столу, положила коробку перед собой, чему-то улыбнулась и осторожно сняла с коробки крышку.

– Вот это было бы мне счастье, если бы не горе... – Язык прикусила и на кровать – глядь: не разбудила ли доченьку ненароком?

На кровати сидела маленькая Маруся, терла кулачком черные глазенки, смотрела на мать.

– А что это ты, Маруся, глазки трешь? Приснилось, доченька? Иди-ка к маме... Поцелую – и все пройдет...

Маруся молча сползла с кровати, ступила шаг-другой к столу, в открытую коробкуглянула и замерла – вот так диво дивное, краса невиданная, мечта чудесная...

– Что это ты? – Орыся ей снова. – Да иди уже...

А Маруся словно и не слышит. Зачарованно – на коробку открытую, а там – рассыпанные красные бусинки коралловые. Откуда такое сокровище? Только мама уйдет «на буряки» – так Маруся всё-превсё в доме перероеет, но эту коробку ни разу не находила.

К столу подошла, рядом с мамой на табурет уселась, а глаз от бусинок отвести не может. Одним пальчиком к бусинке потянулась, дотронулась и наконец улыбнулась, на маму зыркнула – мол, не исчезли, настоящие-пренастоящие!

– Бабушкино намысто¹, – мама говорит. И выкладывает бусинки из коробки на стол, нитку длинную с катушки отматывает. – Однажды нитка разорвалась, бусинки и раскатились, растерялись. Словно счастье отобрали.

Ладонью мозолистой бусинки накрыла. Маруся тоже ладошку на бусинки положила, прислушивается. А мама продолжает:

– Э, нет, – думаю... Нужно счастье назад в кучку собирать. Почти все бусинки нашла, а одну – никак... А сегодня...

Усмехнулась. Из кармана найденную бусинку достала.

– Пеструшке спасибо. Вот хотела ее сегодня зарезать, а теперь – пусть живет.

И бусинки – на нитку: клац-клац-клац. Маруся подбородком в стол уперлась, с бусинок глаз не сводит. Мама работу закончила, нитку завязала.

– Будет намысто. Бабушка говорила – кто кораллы у сердца хранит, того ночью звездочка согреет. Может, и мне теперь...

Только намысто к шее поднесла, а тут куры во дворе как загалдят. Орыся намысто на столе оставила и к окну:

– Куда? А ну кыш! Пошли! Пошли...

От окна да к двери:

– Ох проклятые куры!

Выскочила – стук! Белый свет погасила. Остались только бедная комнатка с изысканным кожаным диваном и зеркальным шкафом, маленькая Маруся у стола, а на столе – чудо из чудес, красное, гладкое, словно шерстью долго полированное, коралловое намысто.

Маруся закусила губку, оглянулась и осторожно протянула к намысту ручку. Коснулась. Нет... Не исчезло. К себе потянула. А тяжелое ж! Осторожно со стола стянула, на шею повесила – и к шкафу.

Стала перед зеркалом... Глаза таращит, аж слезы брызнули: мама родненькая, зачем же ты такое счастье от Маруси прятала, почему вечером, когда спать укладывала, не открыла коробку, не показала хоть бы одну красную бусинку, не поведала, как когда-то проклятая нитка не выдержала тяжелых бусинок и разорвалась, тогда б Маруся времени не теряла и каждый день не только дом и двор обыскивала бы, а и все село, наверное, весь мир...

Маруся вытерла слезу и приложила ладошку к бусинкам на груди. Плечиком повела – ох и красота! Век бы не снимала! А с улицы уже кричит кто-то:

– Орыся! Орыся! Бери уже свою румынку и айда в клуб...

¹ Намысто – бусы (укр.).

Маруся надулась. И отчего это ее румынкой обзывают?

История Марусино прозвища началась задолго до ее рождения. В Ракитном еще помнят, как перед войной в хате бабы Параски появилась черноглазая девушка лет шестнадцати.

– Внучка, – коротко объяснила старая Параска со двора, когда бабы как-то шли по улице, остановились у ее калитки да все рассматривали, как нездешняя, худая, кожа да кости, девчушка неумело возится около кур.

– И откуда такая? – не удержалась одна из женщин.

Параска кивнула головой в сторону города. Бабы тоже шеи повернули. Из города? Да, может быть... От Ракитного до города – всего десять километров. За два часа пешком дойти нетяжело, да что-то Парасина дочка не очень-то к матери бегала, потому что как лет двадцать тому назад подалась в город, так и до сих пор от нее вестей – как от козы сала. А это, значит, внучку к бабе направила. Сама, выходит, к матери не торопится... Городская, выходит...

– И как зовется? – не отступали.

– Орыся... – отрезала Параска. Да на баб волком смотрит – идите уже!

Ракитнянские бабы усмехнулись – подожди, Парася, припечет, сама все расскажешь. Но Параска подвела – умерла, сердешная, перед самой войной, и Орыся осталась хозяйкой на запущенном подворье ее старой, но крепкой хаты. Научилась на огороде управляться, в сельсовете бумажки выправила – ракитнянская теперь, да только к разговорам равнодушна, знай молчит, как индюк, а ракитнянские – они же другие, у них всегда лишнее словцо на языке. «Э, нет, – думают. – Чужая девка! Как была нездешней, так и останется...»

Война на своих и чужих по-своему поделила. Всех ракитнянцев уравнила, всем рты заткнула. Кто от беды онемел, кого сыра земля приняла. Мужики на фронтах. Бабы с малыми да калеки со стариками по углам воют. А отчаянные головы в степи за оврагами в партизанский отряд сбились. Орыся как услышала, так и рванула в степь. Через два дня в Ракитное вошли немцы, и ракитнянцы от черного ужаса в первую очередь показали на ее двор – мол, хозяйка где-то бродит, а хата пустая, поэтому немцам лучше на свободном подворье обустроиваться, а не живых людей теснить... Горе, горе... Где те живые ныне? Где?... Ракитнянцы с немой ненавистью наблюдали, как по их домам шныряют враги – до мозга костей и навечно чужие вояки, режут их кур и свиней, укладываются в их постели... Они молча ждали, пока враг захрапит, и били Богу поклоны, прося для немца таких адских мук, каких еще не знал никто из живых. И мертвых...

В сорок третьем к немцам в Ракитном присоединились говорливые, вечно голодные и навсегда обмороженные румыны. В сорок третьем в свой дом вернулась и Орыся. На пальцах объяснила шестерым придунайским воякам, что поселились в ее хате, что она тут раньше жила, а теперь, значит, будет им прислуживать. Если нужно. По Ракитному поползло...

– Ой-йой! Хорошо, что Параска умерла и не видит, как внучка ссучилась... – одни.

– А разнесло ж ее, паскуду, на румынском харче! – другие.

– А может, партизаны Орысю к румынам направили, – третьи.

– Да кто знает! – четвертые.

Орыся – как немая. Из нее и капли правды не выцедишь.

Но за несколько месяцев правда стала заметной и без слов: Орыся едва волочила по двору ноги, руками придерживала округлившийся живот, в котором пряталась от злого ока новая жизнь. Беременна?

– Вот как! Люди гибнут тысячами, а она принесет в подоле, – ужасались ракитнянцы.

– От румына! – постановили, и никто не пошел к Орысе, когда она выла от боли и одна-одинешенька рожала в холодном сарае за хатой. Да и не добежали бы, даже если б и хотели – слишком уж мрачные события происходили в Ракитном в тот день, когда Орысе выпало рожать.

Маленькой Орысиной доченьке Марусе исполнилась неделя, когда наши войска выбили из Ракитного немцев с румынами. В село вернулись партизаны, а среди них и молчаливый, никому до того не знакомый казах Айдар. Орыся вместе со всеми вышла героев встречать – дитя в худое одеяльце закутала, к груди прижала... А на шее – красное коралловое намысто колыхается.

– А вырядилась, шлёндра! Стыда ж – ни капли! Можно не искать! – раakitнянские бабы аж задохнулись от гнева. – Сука! Подстилка румынская!

А казах Орысю обнял, одеяльце откинул, на дитя глянул – засиял.

– Дочка...

– Что? Что он сказал? Вы слышали? – заволновались раakitнянцы. И глаза прячут – вот так петрушка!

Неужели партизан верит, что это его ребенок? Придирчивые без промедления взялись высчитывать, но фельдшер Матвей Старостенко, что у партизан командиром был, все по порядку объяснил:

– Вот бамагу отправил... На самый верх! Чтоб Орысе орден вручили. Как героической партизанской связной.

Раakitнянцы языки прикусили, но не поверили. Уже и война позади, уж и казах Айдар молодым умер от ран, уже и Орысиной Маруське шесть годков, а они так или эдак возвращаются к невыясненному вопросу.

– Говорю, от румына принесла! – бьет себя в грудь Ганя Ордынская, как будто свечку держала.

– Да... На казашку не похожа, – соглашаются бабы.

– И что ты крутишься, как та румынка чертова! – не удержался фельдшер Старостенко, когда Орыся принесла к нему маленькую Марусю с набухшими гландами и фельдшер никак не мог заставить девчушку открыть рот, чтоб обработать облепленные миндалины хлопковой тряпицей, смоченной в керосине.

Так и приклеилось – румынка. С мясом не оторвать.

Маруся стянула с шеи тяжелое намысто, осторожно положила на стол и – к окну. Неужели мама без нее в клуб пойдет? А потом – к папиной могилке на кладбище? Как же без Маруси? Она и героическую песню «Гренада» выучила специально ко Дню Победы, и односельчан-фронтовиков послушала бы – про страсти всякие, про фрицев.

На улице у цветущего сиреневого куста Орысю с Марусей поджидали две молодые женщины. Обеим – не больше тридцати по паспорту, а на вид – все сорок. Война проклятая. На кожу – морщины, на руки – мозоли, только глаза светятся да сердце тревожится. А для кого? Нет в Ракитном мужиков неженатых. Разве что калека Григорий Барбуляк. Они и на него косились, да Гришка на женщин только – тьфу! Э-э-э-эх, суждено девкам пустыми помереть, поэтому, хоть и мысленно, завидовали Орысе, аж дыхание перехватывало, – все успела: и полюбить, и Марусю родить, а от кого – от румына или партизана – девкам теперь все равно.

Первая на забор глянула, усмехнулась:

– Ох и дыра в заборе! Верно, любовник к Орысе бежит...

– Откуда ему в Ракитном взяться? – вторая. Да на двор: – Орыся! Сколько можно тебя ждать?

Из дома – Орыся. Сердитая. Молнии в глазах едва сдерживает. Марусю за руку силком тянет, а та упирается, словно ее к фельдшеру на расправу ведут.

– А ну брось мне эти фокусы! – И в сердцах Марусю по спине – шлеп!

Маруся надулась, за порог уцепилась. Не оторвать. Губы сжала, из глаз слезы катятся. Орыся дочкину руку отпустила, стала над ней.

– Ну что мне с тобой делать, теленок упрямый?

Девочка мокрые глаза на маму подняла, моргает, а порог не отпускает.

Орыся вздохнула, рукой махнула.

– Ну, хорошо...

Ой-ой! И мир расцвел! Девчушка как подскочила, как рванула в дом... Женщины с улицы:

– Куда это твоя Маруська смылась?

Орыся снова рукой махнула, мол, чтоб ей пусто было, калитку отворила, к хате обернулась и аж рассмеялась.

– Вот обизяна!

Стоит Маруся на пороге, сияет, как медный грош. А с шеи аж до пупа тяжелое коралловое намысто свисает.

– Ну, идем уже, – говорит Орыся ей.

Маруся маме кивает, а сама и ступить боится. Наконец ручонками в намысто вцепилась, смотрит на него и к калитке осторожно – шажок, еще один, еще...

– Под ноги смотри, а не на намысто! – Орыся ей. – Упадешь, нос разобьешь, кровью умоешься – и не будет тебе праздника.

Маруся глаза от намыста отвела, а рук не отняла. Так и шла к Орысе, придерживая тяжелое намысто. А оно Марусю по животу – хлесь, хлесь, хлесь!

Девятого мая герой войны Матвей Иванович Старостенко напрочь забывал, что он теперь большая шишка и председательствует в местном колхозе. Крепко обнимал каждого ракитнянца у клуба, словно собственноручно проверял количество односельчан, не проглоченных войной, и когда клуб заполнялся взволнованными людьми, поднимался на сцену и, чернея от воспоминаний, шептал в неожиданную тишину:

– Вечная слава героям, что сложили жизни в боях против проклятых фрицев! Помянем сначала наших! Мы еще напоемся, а они...

Вечная слава! Орыся с подругами и маленькой Марусей шла по улице к клубу и вспоминала, как впервые встретила казаха Айдара, как тот обжег руки крапивой, когда тянулся сорвать для Орыси чудесный цветок, которого Орыся с тех пор больше никогда в лесополосах не видела, как вдвоем лежали в стогу, смотрели в ночное небо, а с неба им сияла одна звезда.

Маруся плелась за мамой, придерживала тяжелое намысто и все глазенками по улице – стрель, стрель! Странно... Отчего это люди в клуб торопятся и никто на Марусю не смотрит? Почему никто руками не всплеснет, не остановится удивленно, не воскликнет: «Да вы только гляньте на румынку Орысину! Да это ж такая красота, что глаз не оторвать!»

Остановилась вдруг мама. Руками всплеснула:

– Надо же! А платок я дома забыла!

Женщины ей:

– Стыщ, Орыся! Мы и так из-за твоей малой опаздываем!

Маруся рядом с мамой стоит и все головой крутит, вдруг видит – на лавке возле своей хаты сидит Степка-немец. Очки свои поправляет и на Марусю посматривает.

Маруся крутнулась – и к маме:

– Я сбегая... За платком...

Орыся улыбнулась, ладонью – по черным косам Марусиным.

– Беги, дочка... В шкафу на нижней полке. Найдешь?

Маруся: а то! И пошла по улице. На Степку – глядь: ага, крутится на лавке, как вьюн на сковородке, на Марусю шурится, покраснел даже... Подбородок вскинула выше – плечики расправились. И намысто по животу – хлесь! Словно подталкивает к Степке – ближе, ближе.

Маруся прошла мимо лавки, обернулась – сидит Степка, как привязанный, не идет следом.

Надулась. Идет по улице дальше.

– Вот дурной немец! – обиделась.

Рыжего Степку Барбуляка в селе прозвали немцем из-за его отца – калеки Григория. А дело было так.

Перед войной уже немолодой, покалеченный еще в Гражданскую махновской саблей Гришка наконец нашел глупую девку Ксанку, которая, хоть и проревела полночи перед свадьбой, но выйти за калеку не отказалась, потому что все равно другие хлопцы на нее не засматривались, а в девках года листать еще горше, чем с нелюбимым жить. Поженились, а тут – война. Вот когда Ксанка Бога поблагодарила: все мужики к ружью стали, а малограмотного инвалида Гришку даже в писаришки не взяли, при ней остался. И хоть от голода совсем ослабел, сидел в хате и стонал, в сорок третьем однажды так ловко управился со своей главной мужской миссией, что даже немцы с румынами удивлялись: и что за люди эти украинцы – по ямам и углам жмутся, есть нечего, а уже вторая баба на селе беременна, черти бы их побрали. Не желают вымирать, плодятся бесстыдно, словно и не висит фашист над ними, как кара Божья.

Первой из тех двух беременных была Орыся, второй – Гришкина Ксанка.

Ксанка за неделю до Орыси родила недоношенного рыженького мальчика и дала ему имя – Степан. Ожила. В глазах – счастье. Сыночка из рук не выпускает, Гришку в шею погнала – еду искать. Еще недавно умереть согласна была, потому что под немцем все равно не жизнь, а нынче – летает. За этими мечтами однажды даже не заметила, как молодой немецкий солдат Кнут, что офицеру прислуживал, рядом с малышом оказался. Наклонился над колыбелькой самодельной, которую Гришка навесил на грушу за хатой у сарая...

Ксанке речь отняло. Замерла, сердце колотится, рука к топору тянется.

Не успела. Кнут от колыбельки отошел, улыбается, словно выпало ему счастье неземное. Рядом с Ксанкой присел, из кармана маленькое фото достал, показывает – смотри!

Ксанка на фото глянула. Господи Всемогуший! Словно кто-то ее маленького Степанчика откормил нормальными харчами и перед фотокамерой усадил.

– Кто это? – отважилась спросить.

А Кнут и смеется и плачет.

– Мой Ганс, – говорит. – Сын.

Головой закивал горько, мол, как ты там без меня, мое дитятко. Ксанка и сама чуть не разревелась.

– Ничего, ничего, – трясется и Кнута по спине гладит. – Скоро вам отсюда бежать без оглядки... Скоро...

Кнут в себя пришел, фото маленького Ганса поцеловал, в карман спрятал и – прочь.

Ксанка – к Богу:

– Пусть немец моего сыночка не тронет.

Не знала, о чем просит.

В ту ночь немецкий офицер, который квартировал на Гришкином и Ксанкином подворье, проснулся от горького голодного детского плача. Кликнул Кнута, велел перестрелять всех, кто только посмеет рот открыть.

Кнут нашел Ксанку и Гришку у сарая за хатой, приложил палец к губам, мол, молчите и ребенка успокойте, достал из кармана заложенную конфетку, положил Гришке в ладонь и показал на Ксанку со Степанчиком на руках.

– Мутер... кушать... Ганс вырастет сильным...

Наутро раздраженный немецкий офицер зашел за хату, ткнул в Ксанку со Степанчиком, и немецкие солдаты потянули бабу с младенцем к стогу соломы, что стоял перед хатой. Тем временем Гришка пытался отыскать за селом колхозный тайник со свеклой, который еще до войны распорядился заложить предусмотрительный председатель колхоза, и Гришка тогда вместе со всеми ракитнянцами копал глубокую яму, сбрасывал в нее свеклу, заваливал соломой, а сверху – слоем земли. Сколько жизней спасла эта мерзлая свекла...

Немцы Ксанку к стогу тянули. Ксанкины ноги не слушались, подгибались, как ватные, отдавали всю свою силу рукам, потому что рукам теперь нужна была вся Ксанкина сила – прижать к груди Степанчика, успокоить, да и не упустить же, не дай Бог!

До стога не дошла. Упала посреди двора на колени, но дитя не выпустила. Степанчик заплакал. Немецкий офицер что-то приказал солдатам, те засуетились – один схватил сверток с младенцем, дернул к себе, и Ксанка отпустила только потому, что боялась навредить сыну. Немец побежал к стогу, вырыл в нем нору, вбросил туда Степанчика, закидал нору соломой...

Ксанка задыхнулась и упала на землю. В стогу плакал ребенок. Офицер подошел к Ксанке, толкнул сапогом в бок – встать!

Встала.

Шатается – от ужаса пьяная, немца сумасшедшими глазами ест, молит глухим шепотом:

– Господин офицер... Отдайте сыночка... Отдайте... Сыночка отдайте... Отдайте.

Офицер криво улыбнулся и щелкнул пальцами. Рядом с Ксанкой вырос немецкий солдат. Ткнул ей в руки вилы.

– Что? Что? – Ксанкины глаза стали звериными.

Офицер театрально вытянул руку. Солдат вложил в нее гранату.

– Айн! Цвай... – офицер усмехнулся. Вырвал чеку и бросил гранату в стог.

– Господин офицер приказывает – ищи в стогу свой маленький киндер, – пробормотал перепуганный переводчик. И пятится, пятится от стога...

Ксанка страшно закричала, отбросила вилы и побежала к стогу. Разгребает солому и воет. Ракитнянцы от своих хат на нее смотрят, плачут, а ближе подойти боятся.

Офицер что-то раздраженно выкрикнул. Солдаты подхватили Ксанку, оттянули от стога.

– Баба... баба... – переводчик совсем потерял голову от страха. Трясется, пот глаза заливают. – Баба... Господин офицер приказывает... Вилами ищи. Вилами... Нельзя руками. Убьет.

А солдаты уже снова Ксанке в руки вилы – тык! И ногой по спине – к стогу! А из стога едва слышно, как ребенок пищит.

Ксанка осторожно вилами солому разгребает, руки трясутся...

– Потерпи, родненький... Сейчас мама тебя...

Отбросила солому. Глаза сумасшедшие. Снова – вилы в солому. И прислушивается – слышно ли еще Степанчика?

– Если гранату вилами зацепит – всех на куски разорвет, – переводчика аж скрутило.

– В любом случае сейчас рванет, – сказал полицай.

Откуда Кнут взялся? Как до стога добежал? Ксанка еще отбрасывала солому, в стогу еще плакал ребенок, а переводчик вместе с полицаем еще отсчитывали секунды до взрыва,

когда Кнут нырнул в стог, через миг появился со Степанчиком и с такой силой швырнул сверток с ним прочь, что тот упал метров за восемь от стога.

– Вот сука! – обиделся полицай.

В тот же миг взрыв разорвал на куски и Кнута, и Ксанку...

Гришка с двумя перемерзлыми свеклами вернулся в Ракитное под вечер. Заплаканные бабы встретили его еще в степи. Рыдали жутко, тихо – о страшной гибели Ксанки и Кнута. Схорониться Гришке велели, – немецкого офицера так оскорбил поступок Кнута, что приказал убить Гришку и стрелять в каждого, кто осмелится подойти к Степанчику.

– А где пацан? – Гришка спрашивал, но голоса своего не слышал.

– Немец его аж под забор закинул, – заплакали бабы. – Там и лежит, бедолага. Боятся люди к нему подойти. Немцы сказали – кто подойдет, застрелят...

До темной ночи Гришка прятался в соседской хате и смотрел на двух немецких часовых, что стояли у забора. А под забором разрывался от плача, хрипел маленький Степанчик.

– Это что ж, Ксанка зазря погибла... – кольнуло в сердце. Помолчал и добавил: – И немец...

Под утро Степанчик затих.

– Помер, не иначе... – горько вздохнула соседка, у которой прятался Гришка.

Калека упал на колени и пополз к забору. Часовые уснули, словно Бог им глаза закрыл. Гришка нашел безмолвный сверточек, прижал к груди, скорее прочь пополз. За соседской хатой на ноги встал, сверточек развернул.

– Неужели Ксанка зазря погибла... И немец...

Степанчик выжил. Когда Ракитное уже освободили и раakitнянцы впервые после страшных лет оккупации собрались на площади у клуба, плакали и смеялись, пили горилку, поминали погибших и умерших, Гришка встал со стаканом в руке и вдруг сказал:

– И за немца того... Который моего Степку спас...

Ракитнянцы калеку выслушали, а пить с ним не стали. Зыркали на рыжего малыша...

– Чисто немец! – сказал кто-то, как клеймо наложил.

Так маленький Степка стал для раakitнянцев немцем. А калека Григорий, когда напивался, все рассказывал сыну про немца, который когда-то давно положил ему в ладонь конфету и приказал вырастить сына сильным.

В шесть лет в Степке было мало силы и роста, спутанные рыжие волосы и очки со сломанной, перевязанной веревочкой дужкой на симпатичном курносом носу. Другие пацанята гоняют по селу, аж пыль коромыслом, а Степка усядется на лавке и все под ноги смотрит. И что с ним такое?

Маленькая Маруся рассердилась не на шутку, аж намысто в сердцах дернула, да испугалась, что нитка порвется, отпустила. «Степка-Степка! Куриная жопка!» Так смотрел, что и очки запотели, а не кумекает, дурачок, что нужно за Марусей следом идти, потому что она для того к дому и вернулась, чтоб мимо Степки пройти и похвастаться, какая она красавица писаная.

Уже до калитки дошла и еще раз обернулась: неуверенно, как маленький теленок, Степка шел следом за Марусей. Девчушка повеселела. От калитки отступила и уселась в траву под молодой сиреневый куст. Вот вроде вообще не видит мальчишку. Вот вроде такое у нее дело – сидеть под кустом и для своей забавы маленькую хатку строить.

Степка подошел к сиреневому кусту, оглянулся и осторожно опустился на коленки напротив Маруси. Девчушка насупилась, стрельнула глазами, мол, а дальше что?

Молчит Степка. Молчит. С намыста кораллового очей не сводит.

– Степка! Ты зачем за мной пошел? – словно только что немца увидела.

– Слышишь... Маруська... – И глазенки под очками – хлоп-хлоп...

– Чего? – с вызовом говорит.

– Дай... только дотронуться...

Вот это дело! Маруся манерно глазки закатила, сложила губки бантиком.

– Ой! Как же вы все мне надоели...

Строгая. На Степку глянула...

– Нет. Сначала... скажи...

– Что? – растерялся Степка.

Маруся даже покраснелась от такой Степкиной придурковатости. Ну как же этого можно не понимать? Совсем дурак?

– Совсем дурак! – хлестнула его по коленке. – Говори: «Маруся! Ты самая красивая...»

Степка потер коленку, беспомощно посмотрел на Марусю. Та снова как хлестнет!

– А ну говори, или сейчас домой убегу!

– Маруська... – отважился. – Ты самая красивая...

Расцвела. Томно вздохнула, словно отпустила кого-то с привязи, ручонками намысто поправила, глазки закрыла и подставила щечку.

– Ладно... Дотронься... Но только один раз!

Степка покраснел, как свекла, глаза вытаращил и осторожно протянул руку к красному намысту. Коснулся гладкой бусинки, дышать забыл – ох и красота!

Маруся глаза открыла. От обиды чуть слезами не захлебнулась. Степку по руке ударила, подскочила – и к калитке.

– Ты... Мое не трогай!

К дому бежит, а намысто по животу – хлесь, хлесь! Остановилась, камешек с земли подобрала, в сиреневый куст ка-ак кинет.

– Немец Степка! Куриная жопка! Крот слепой! Съел зеленую жабу, а думает – пирог!

И нет ее. Степка из-под куста вылез, вздохнул, опустил голову и беспомощно заерзал драным ботинком по земле. Ковырял, ковырял, пока ямка под сиренью не появилась.

Вот и ночь. Сверчки перекликаются, луна сияет так ясно, что вишня на Марусином дворе сдалась – откинула тяжелую тень и листвою зашелестела, словно проверяет, будет ли та тень двигаться.

Под сиреневым кустом тоже что-то – шерх, шерх. Молодой пес на Марусином дворе шевельнулся в будке, да не насторожился.

Из-под сирени выбрался Степка, поправил очки и на цыпочках подкрался к дырке в заборе. Так-сяк пролез, сжался посреди двора – страшно! То на окно открытое глянет, то на будку. Злой пес у Маруси. А ну как хватанет? Ох и страшно! Назад было повернул, да опять замер. Кулачок сжал – и скорей к окну. По колючкам босыми пятками. Добежал! В карман полез, заложенную конфетку достал, на подоконник положил – и ходу! Едва успел до дырки в заборе пробежать, как пес проснулся – из будки выскочить не поленился, цепь рвет, рычит, к Степке рвется, а тому все равно – в дырку да на улицу. До своей хаты пробежал, на лавку упал и замер. Глаза – в землю. Улыбается. Вдруг:

– Степан... А чего это ты, тряся твоей матери, ночью шляешься?

Очки поправил – ага! Снова папка пьяный домой ползет. Молча под мышку Григорию подлез, худенькой ручонкой за спину обнял.

– Дай помогу...

– Вот так номер! – выдохнул Григорий. – Да ты у меня силач. Правильно немец мне наказывал – чтоб, говорил, твой сын вырос, я себе смерть приму... И конфетку... дал.

Калека вздохнул. Степка с ним вместе.

– Та конфетка... – продолжает, – ценность наиценнейшая! Оберег, выходит, на всю твою жизнь... На память... Про немца... И мать твою сердешную... Понял? Никому ее... никому! Не отдавай! Не отдашь?

Степка вздохнул горько. Губы задрожали. В сторону Марусиной хаты глаза скосил – словно издалека можно было все рассмотреть: и Марусю в тяжелом красном намысте до пупа, и заложенную заветную конфетку на подоконнике.

Глава 2

Румынка и немец. Необъяснимый день

В семидесятом Орысе исполнилось сорок шесть. Седая стала. Тяжелая. Где уж там на счастье надеяться? Одна... Утром на порог выйдет – тихо... Снова – тихо! Как в могиле. Словно заснула жизнь. Словно забыла, что не погасло Орысино сердце, бьется... Тихо. Снова тихо! С утра до ночи знай спину гнет. Пальцы на руках покрученные. Доктор в городе пожал плечами, поставил диагноз «натруженные руки» и велел беречься. А для кого? Тихо в Орысиных ночах. Тихо. Одна на постели. Свернется калачиком, воспоминаниями укроется. Если бы не Маруся, то и не понять, зачем те дни листать.

Маруся выросла. Как проводывает Орыся партизана Айдара на кладбище, так все ему про дочку, про дочку.

– А красавица какая, – улыбается. – На хлопца глянет – тот, бедняга, аж мотню пинжаком прикрывает. Или за папироску хватается, мол, я такой сурьезный да гордый, что мне Марусины чары не страшны. Зажмет ту папироску зубами, а глаза будто кричат, так к Марусе поближе хочется. Только она у нас не такая. Ох и рассудительная. Слышишь? Перебирает, перебирает... И этот ей не пара, и тот не годится. Может, каприз какой сердечный от всех прячет? Не знаю. Не признается... Не жалуется...

Маруся и правда на материнском плече слезами не умывалась. Неговорливая, да уж если что скажет – так по ее и будет. После школы секретарские курсы окончила и, как ни уговаривали ее председатель колхоза вместе с Орысей ехать в город на учебу, осталась в Ракитном.

– Дни всюду одинаковы, – ответила непонятно и пошла к председателю колхоза в секретарши.

– Тьфу, дура! – плевались раkitнянские бабы. – С такой красотой за космонавта могла бы замуж выскочить...

Не ввали. На фоне линиялого от жгучего степного солнца Ракитного, где даже люди выцветали до невыразительного песочно-глиняного цвета и так же, как глина трещинами, покрывались раньше срока морщинами, Маруся казалась чужеродным ярким пятном без полутонов и компромиссов. Черные очи не светлели днем, не темнели от гнева, жгли черным огнем из-под черных ресниц, черные косы щекотали под коленками, а красные уста без помад цвели на белом личике. Но больше всего раздражал раkitнянцев необъяснимый Марусин нрав.

– Упряма как осел, – говорили.

– Люди видели, как она в церковь в городе бегала, – сплетничали.

– Так вот почему она замуж не идет! Может, в монахини захотела! – гадали.

И к Марусе, потому что любопытно, что у девки на уме.

– Маруська! Ты чего замуж не идешь? Другие девки аж плачут, так замуж рвутся, а тебе оно вроде бы и неинтересно?

Маруся усмехнется, плечом поведет:

– Куда спешить? Моя судьба при мне, как пришитая.

В председательской конторе бумажки до пяти поперебирает, матери по хозяйству так-сяк поможет, в зеркало на себя глянет и в клуб – как не кино индийское, так танцы под баян или «Весну». А чтоб там под клубом горилки хлебнуть или папироску попробовать – шиш! Намысто коралловое на высокой груди поправит, усмехнется, будто знает что-то такое, чего другим знать не дано. Хлопцы в Ракитном – с катушек! Для каждого Маруся – самая лучшая.

И песни... Песни же все – о ней. «Черные брови, карие очи...» Девчата обижаются – пусть бы уже хоть за кого-то вышла, тогда и им можно было бы глазами пострелять.

– А теперь Лешку Ордынского стала к себе подпускать, – рассказывала Орыся новость покойному Айдару, когда пришла крест на его могилке поправить, потому что совсем покоем. – Он к ней и так и сяк, а Маруся знай смеется. А зря. Лешка – парень видный. Ученый. Хорошая была бы пара.

Про свадьбу упрямой румынки Маруси и Ганиного сына Алексея Ордынского Ракитное гудело уже вторую неделю.

– Ну, наконец-то, – говорили, – определилась румынка! И ты только посмотри, какое ж оно упрямое. На первого встречного-поперечного не кинулось. Это ж нужно было, чтоб Ганин Лешка в институте отучился, в армии отслужил и только на два дня к матери в Ракитное заскочил, потому что на какую-то комсомольскую стройку записался, а она его враз окрутила – чихнуть не успел! Ой-йой! И уже не нужна хлопцу никакая тундра, или куда он там намылился... Уже ему Ракитное – белый свет, потому что тут Маруся-цаца по груди красные кораллы катает.

Лешка Ордынский только появился в селе, только по улице прошел, а у ракитнянских девок вмиг в висках зазвенело. Вот это парень! Высокий, крепкий, плотный, синий глаз нахальный, горделивый, русский чуб кудрявится. Ой, мамочка, держи, потому что устоять невозможно! А умный! Как начнет тебе про далекие миры, природные чудеса и всякие технические достижения, вот бы слушала и слушала. А если б еще к нему прижаться... Ой, мамочка, держи свою дочку!

Маруся как раз из конторы шла, когда Лешку Ордынского по Ракитному к друзьям понесло. Усмехнулась.

– Не Ганин ли Леша в родное Ракитное вернулся?

Вот это и все. Пошла дальше, а он за ней.

– Подожди... Да подожди!

Остановилась.

– Маруська? – грубо. – Румынка? – еще грубее. Надо же как-то скрыть неожиданную растерянность. – Так, значит, выходит, ты теперь самая...

– Самая красивая! – серьезно так. И пошла.

И пропал парень!

Свадьбу через месяц назначили. Лешка ждать не хотел, хоть Маруся и говорила, что осенью лучше. Так нет! Припекло хлопцу, всех закрутил, председатель колхоза Старостенко из-за него на сердце стал жаловаться, потому что ни днем, ни ночью от Лешки покоя нет: то на работу его определи, то дай «бобик» в город за казенкой смотаться, то пусть председатель сельсовета в субботу поработает – молодые, видите ли, в субботу расписаться хотят...

– Ну так и иди к председателю сельсовета! – кричал Старостенко, а Лешка ему:

– Матвей Иванович! Как вы председателю сельсовета скажете, так и будет. Он у вас еще с войны в адъютантах, говорят...

И послал бы Матвей Старостенко Лешку не только к своему другу председателю сельсовета, но и намного дальше, да только очень заманчивая ситуация вырисовывалась: его секретарша Маруська прицепила к колхозу парня с высшим экономическим образованием, а Старостенко, хоть и был по образованию фельдшером, уже более двадцати лет председательствовал в Ракитнянском колхозе и кумекал правильно – пора искать себе на замену человека образованного, молодого и желательно из местных.

– Будет тебе сельсовет в субботу, – буркнул. И слово таки сдержал.

В ту субботу Орыся накинула на плечи красивый цветастый платок, вышла на порог и кликнула девчат, что сустились во дворе.

– А что, дружки-подружки! Кто поможет невесте?

Девчата как заверещат! Да одна быстрее другой – к дому. Орыся руками развела.

– Да не все, ей-богу! Вон и цветы в букеты не собраны, и рушники никто не расстелил.

И Татьянке горбоносой:

– Пойдешь?

Не успела Татьяна головой кивнуть, как видит Орыся – в раскрытое окно Маруся выглядывает. И так, словно стыд где-то потеряла. Длинные черные косы расплетены, сорочка на тонких лямках совсем сползла, аж груди видно. Да и серьезная, будто на важном задании – белую фату, что на подоконнике лежала, в руки взяла, и все по подоконнику рукой шарит. Потеряла что?

– Доченька! – испугалась Орыся. – А ну прочь от окна! Плохая примета, чтоб невесту до свадьбы видели!

Маруся от материнских слов отмахнулась, но из окна исчезла.

Горбоногая Татьяна вошла в небольшую комнатку с изысканным кожаным диваном и зеркальным шкафом и к стене прижалась: не смогла скрыть зависти.

– И дал же тебе Бог такую красоту...

Маруся как раз белое платье надевала.

– С лица воды не пить...

– Тебе легко говорить, – возразила Татьяна. – А на меня никто из хлопцев даже не глянет. Еще год-другой – и в старые девки запишут.

– Так сама... – Маруся платье застегивает и подружке советы дает.

– Что? – Татьяна разыскала гребень, лак для волос – сейчас Марусе модную прическу организует.

– Ищи... Где-то же и твоя судьба бродит.

Татьянка Марусю на табурет перед зеркальным шкафом усадила, стала за ее спиной, гребнем по косам ведет.

– Искала, аж ноги посбивала. Нет мне пары! – вздохнула. – Разве что то несчастье...

– Какое?

– Степка-немец...

– Что?! – Маруся как толканет ее локтем в бок. Татьяна так и рухнула на пол с гребнем в руках. Глаза выкатили:

– Ты чего?

Маруся брови сдвинула, табурет отшвырнула, в шкафу роется – словно бы срочно нужно ей с полки носовой платочек достать.

Татьянка с пола поднялась, ничего не понимает.

– Ты чего, Маруся?

Маруся к Татьянке обернулась – спокойная, словно и не волновалась. Усмехается.

– Да ничего. Шучу... Бери...

– Что?

– Да не «что»... Немца бери... Вот сейчас пойду к нему и прикажу, чтобы взял тебя в жены.

– Ты что, дура, мелешь? – рассердилась Татьяна. – Самого лучшего парня окрутила, так думаешь, всеми командовать будешь? – и к двери. – Сама одевайся и причесывайся!

Маруся Татьянку за руку – хват!

– Постой, не сердись... Волнуюсь... Все свадьба эта... – и тянет Татьянку в комнату. – Где гребень? Еще косы нужно заплести, а ты мне тут фокусы показываешь...

Горбоносая сердито зыркнула.

– Ну, смотри мне, Маруська! Буду замуж выходить, тоже тебе капризы устрою.

Маруся рассмеялась.

– Да ладно... Ладно...

На табурет перед зеркальным шкафом уселась, черными косами махнула, и Татьяна взялась укладывать их короной.

Из открытого окна словно шелест какой-то раздался. Маруся напряглась.

– Татьянка! А ну-ка глянь, кто там под окном бродит?

– Никого!

– Да быть этого не может! – И хочет встать.

Татьянка ее усаживает:

– Да сиди уже, черти бы тебя побрали! Из тебя невеста как из доярки балерина. Чего ты крутишься? Скоро хлопцы с Лешкой придут, а ты до сих пор не готова!

– Глянь на подоконник! – Маруся говорит.

Татьянка подошла к открытому окну, взяла с подоконника конфету в липкой обертке.

– Конфета, – удивилась. – Наверное, дети балуются.

– Наверное... – улыбнулась Маруся.

Степка-немец пригнулся под Марусиным окном – нет, никто его не заметил, все чересчур заняты, как же – свадьба у Маруси. Очки на носу поправил и втихаря за хату. Оттуда – на улицу. Под кустом сиреневым остановился, «Пегас» в зубы, спичкой – чирк.

Сиреневый куст разросся, как дерево. Под ветки станешь – издали никто и не заметит. Степка затянулся сигаретой: и что теперь делать? Был у него отец-калека, трактор и Маруся. Отец помер, Маруся теперь замужняя, только и осталось, что трактор, а то бы – совсем худо. Вздохнул, голову опустил, сигарету под куст бросил, а там тех окурков – гора.

И пошел прочь – худой, рыжий, ростом не вышел, еще и слепой как крот. Эх, недаром горбоносая Татьянка говорила – несчастье, а что очи мудрые, как у старца, улыбка тучи разгоняет и сердце без гнили, – так, чтобы это разглядеть, нужно подойти ближе.

В полдень во двор Марусино дома ворвалась веселая ватага парней, Лешка-красавец – впереди. На пиджаке цветок серебристый, сорочка белая, аж глаза слепит, галстук полосатый – все при нем.

Девчата Лешку увидели – и давай визжать.

– Маруся! Маруся! Жених во дворе! Маруся!

Лешкин дружка Николай одну из девчат подхватил под руку:

– У нас купец! У вас – товар! А ну ведите! Приценимся! Подойдет ли нашему Алексею ваша Маруська?

А та возмущается:

– Это ж несправедливость какая! Чтобы с первого дня – товар...

Лешка руку вверх – тихо всем! На часы глянул.

– Девчата! Хватит время терять. Через полчаса сельсовет закроется. Где Маруся?

Тут уже не только девчата, а и старая Орыся голос подала:

– Маруся! Да где же ты, доченька. Выходи уже...

Вышла – все чуть не упали. Девчата от зависти губы кусают, хлопцы рты разинули, Лешка задохнулся от восхищения – вот когда учился в городе в институте, однажды попал ему в руки журнал английский про богатых и красивых, и была там одна фотография, от которой Лешка глаз отвести не мог, потому что с нее прямо ему в душу смотрела сказочно красивая женщина в белом бальном платье – глаза и косы черные, уста алые и улыбка, что

просто с ума сводила. Так Маруся лучше... Правду говорила – самая красивая... Такая красивая, что и...

Тихо стало на Марусином дворе. У Лешки даже мысли оборвались. Смотрит на Марусю, как круглый дурак, а голова пуста – и все тут. Старая Орыся первой в себя пришла, к Марусе руки протянула.

– Доченька моя! Иди к маме. Поцелую, родная. Благословлю и за себя и за отца.

Лешка выдохнул с облегчением, стрельнул глазом – не заметил ли кто случайно, как он от Марусиной красоты чуть голову не потерял. Да нет! Вроде все в порядке. Снова на часы глянул.

– А что, Маруся, – в сельсовет? Не передумала?

Маруся улыбнулась – нет! Маму обняла, поцеловала и к жениху идет – в глаза смотрит и все улыбается.

– Пусть нас мама благословит.

– Пусть, – согласился Лешка.

Орыся молодых торопливо перекрестила, потому что жених предупреждал: чтоб ничего лишнего, он ведь коммунист. А она им мысленно: «С Богом!»

Маруся Лешку под руку взяла и первой к калитке пошла. Толпа хлопцев и девчат с цветами, рушниками, горилкой и баяном – следом. Настоящая свадьба! На другом конце Ракитного и глухой услышит.

На улицу вышли – веселые, красивые. Маруся на сирень глянула – под кустом окурки дымит. Никого. Брови сдвинула. Остановилась.

– Что? – Лешка почему-то испугался.

Хлопцы с девушками на молодых косятся, мол, что у вас еще не так? А Маруся не слышит – руку к груди прижала. «А намысто! Намысто ж забыла!» – в виски бьет. На Лешку...

– Маруся... Ты чего? – аж голос у него охрип.

– Да нет же... – прошептала, букет горбоносой Татьянке ткнула и побежала к дому.

Орыся схватилась за сердце и чуть не упала.

– Доченька... Да что же это, люди добрые?

Лешкин дружка Николай перед компанией выскочил.

– Так... Спокойно... Еще есть время. Может, невесте срочно нужно...

– Что?! – не выдержала Татьяна и крутит в руках букет, словно теперь ей вместо Маруськи за Лешку замуж.

– Ну... Это... – Николай запутался и решил брать быка за рога. Лешку за плечо обнял, шепчет: – Может, я за ней сбегать?

Лешка криво усмехнулся, демонстративно нахальным взглядом обвел растерянную компанию.

– Вот еще только минуту жду...

А Маруся тем временем в комнате все вверх дном перевернула – исчезло намысто.

– Ну где? Где? – чуть не плачет.

И в шкаф. И под диван кожаный. И под стол. По серванту между чарочками – дзень-дзень. Нет!

– Где?!

На стул упала. Подбородком в стол уперлась, на глазах слезы. Вдруг видит – из коробки, полной конфет, красная бусинка выглядывает.

– Ох, немец, немец... – Намысто схватила, на шею набросила и выскочила из хаты.

На улице толпились растерянные хлопцы и девчата – кто его знает, что теперь делать? Сбежала невеста. Николай старую Орысю под руки поддерживал, потому что та все ладонью рот зажимала, а ведь без воздуха опрокинуться можно за миг.

Лешка для виду кашлянул, насупился и ступил шаг от двора. И тут от Марусиной хаты – хлоп! Овернулись – бежит! Белое платье свадебное к коленям прижала, улыбается – еще красивее стала. И красное намысто коралловое на шее болтается.

– Ох румынка придурковатая! – поразилась Татьянка. – Из-за этого дурацкого намыста чуть без мужа не осталась...

Маруся со двора на улицу выбежала и остановилась. Косы поправила, платье свадебное опустила. И – к Лешке. Медленно. Гордо. Спина выгнулась, груди вперед, подбородок – выше... Подошла, под руку взяла, в глаза глянула:

– Почему стоим? Сельсовет сейчас закроется, так кто виноват будет?

Лешка ошеломленно потер висок:

– Вот это бы тебе еще... карету, такая ты у нас цаца.

– Зачем карета? Ты ведь есть... – и в глаза ему, в глаза. Жжет.

Э-э-эх! Лешка обо всем забыл. Под ноги плюнул, глаз азартно прищурил, мол, да я, любка, и не такое могу. Марусю на руки подхватил и понес. А она его за шею одной рукой обняла, головку на плечо положила, а другой рукой красное намысто к груди прижимает и знай усмехается. Ох и красивая картинка. Словно нарисованная.

Девчата завизжали от восторга, хлопцы заулюлюкали, баян мелодию завел. Настоящая свадьба! На другом конце Ракитного и глухой услышит.

До ночи гуляли. Председатель колхоза постарался – и продукты выписал, и горилки за счет хозяйства. Даже вино из собственного погреба припер. И клуб раakitнянский оккупировать разрешил, хоть Орыся и пыталась всех уговорить шатер во дворе построить. Так нет. Старостенко постановил:

– Пусть в клубе гуляют.

Полсела собралось. Еще бы – такая пара! Оба – ох и красивые, глаз не оторвать. Вот счастье будет. А то, что рыжий Степка-немец до клуба не дошел, так кому он нужен? Про него никто и не вспомнил. И без него гостей набилось, как селедок в бочку. Так кричали «Горько!», что по селу собаки подвывать начали. Лешкина мать Ганя сваху Орысю от стола поманила.

– Давай, Орыся, уже как-то детей выпроваживать. Сердцем чую – раakitнянцы их так просто не отпустят.

Орыся растерялась – как молодых из-за стола высвободить?

– Вальс! – крикнул Лешкин дружка Николай. И к Орысе: – Тетка Орыся! Разрешите с мамой невесты...

– Слышишь, Коля... А пусть молодые еще раз станцуют.

– Пусть станцуют! – Кольке уже все равно было. Как загорланил: – Танец молодых! Жених, тьфу ты, женатый мужчина Алексей Ордынский и его молодая жена Маруся, тьфу ты, Мария... – оглянулся. – А музыка где?

– Дай хоть поесть, зараза! – обиделся баянист Костя.

Лешка кружил Марусю в вальсе и уже не мог сдерживать гордости, все улыбался, как ненормальный, – теперь она только его, Лешкина. Ни у кого такой красавицы нет! Ни у кого! Белое платье – волнами, волнами, черные глаза сияют и жгут, косы под фатой расплелись – вот так бы лицом в них, чтобы голова закружилась.

– Маруся...

– Бежим, – прошептала, и они рванули из клуба прежде, чем Ганя с Орысей наконец договорились о том, как им спасти молодых от надоевших гостей.

Из клуба в ночь вылетели две счастливые птицы – Марусино платье белое, как крылья, трепещет, Лешкин пиджак полами хлопает. Остановились, обнялись – нет Ракитного, как на небо попали: ночь зарисовала черным хаты и подворья, свет в окнах – как звезды в той черноте без конца и края. Вот так бы и идти по этому небу невесть куда без остановки.

Маруся рассмеялась, схватила Лешку за руку.

– Ко мне...

– погоди! – растерялся не на шутку. – Маруся... Не положено так... Жена к мужу в дом должна идти. Обычай.

– А что нам обычай? – И в глаза ему. В глаза. Жжет.

– Мать постель новую постелила...

– И моя мама постелила, – знай тянет за руку.

Лешке словно кто вилы под ребра, – заупрямился.

– Не пойду! Село засмеет, – на Марусю сердится.

«Вот соглашусь сейчас – всю жизнь будет меня на поводу водить», – думает, на молодую жену смотрит, и нет ему белого, нет платья свадебного, фаты пышной, только черное, черное – глаза, волосы... И красное – губы, намысто... На кораллы глянул, дух захватило. Лишние они ему. Камень на шее.

Подошла ближе, губами к Лешкиным губам припала, оторвалась.

– Если скажешь, что сам так захотел, никто не посмеет.

– Так я не хочу, – уже неуверенно.

– Меня не хочешь?

– Хочу! Так хочу, что и не утерпеть, – шепчет, словно кипяток разливает.

– Так моя хата ближе, – рассмеялась. И побежала.

Где уж тут думы думать да про чужие смешки рассуждать. Пиджак на плечо закинул – и за белой фатой галопом.

И почему румынка с ранней весны до поздней осени никогда окна не закрывала? Кто знает. В комнатку вбежала, белую фату на подоконник кинула и замерла перед зеркалом. Прохладный ветер со двора фату развеивает, словно кто-то с белым флагом в плен просится.

Усмехнулась. Платье белое стянула. А тут и Лешка на порог. Пиджак сбросил, с Маруси глаз не сводит.

А она в одной лишь комбинации – столбом перед зеркалом. Намысто пальцами перебирает, на Лешку в зеркале смотрит.

Нет! Он-то думал – иначе будет. Что вот он в комнату войдет, а она уже все с себя скинет и будет стоять посреди комнаты голая и прекрасная, точно греческая мраморная богиня, глаза опущены или наоборот – горят жарким огнем, но руки, руки непременно протянет к нему, словно будет просить – возьми меня, я твоя навеки, я так долго ждала тебя, невинность берегла. А он не будет мешкать! Быстро сбросит одежду, возьмет ее за плечи и нежно уложит на белые простыни, да так, чтобы лицо к лицу, глаза в глаза, а там... Невелика наука.

Маруся стояла перед зеркалом и смотрела на Лешкино отражение. «Наверное, хочет, чтоб я помог ей раздеться», – промелькнуло в голове молодого. Лешка проглотил волнение и сделал шаг к Марусе. Стал за ее спиной, руки на плечи положил и осторожно спустил тонкие лямки комбинации.

Маруся напряглась, в глазах сверкнул недобрый огонек. Лешку за руку ухватила – стой! И молчит же! Сказала бы, как хочет, он бы...

– Маруся... – хрипло.

От зеркала к Лешке крунулась, за галстук полосатый к себе как дернет.

– Молчи, – шепчет и рвет на нем одежду. И – прочь ее! Прочь!

– Мару... – застонал от желания, руки к ней тянет, а она их отталкивает и дальше, дальше...

Уже и брюки от костюма свадебного на полу, и трусы синие с красными полосками по бокам... Стоит молодой посреди комнаты – голый и в одних носках. Ну посмешище ж, ей-богу! И люстра на три лампы светит, как ненормальная. Зачем Маруся ее включила? Оно как-то в темноте удобнее.

Маруся все стянула, на носки глянула, потом – молодому в глаза. За плечи его взяла – и на белые простыни усадила. У него аж дух захватило. «Это же я должен был ее за плечи... Да на постель... – Лешкины мысли сбивались и становились ласковыми, как щенки. – Да ладно... Все равно... Пусть уже натешится своими причудами... Я ее потом...»

А она у постели присела, за ногу Лешку взяла. Сняла носок. Второй.

Ну вот! Нет на молодом ничегошеньки! «А теперь что?» – вдруг испугался Лешка и протянул к Марусе руки. Ну точно так, как она должна была сделать, если бы все по-Лешкиному было.

Маруся упала в раскрытые объятия, и они вдвоем повалились на новую простыню, которую Орыся своими руками украшала кружевом и берегла для Марусиной свадьбы.

Лицо к лицу. Глаза в глаза. Он – на подушке, она – над ним.

– Дай... комбинацию твою сниму, – прохрипел.

– Сама... – прошептала. Дернула за лямку, куда-то вниз потянула, вместе с трусиками на пол бросила.

– Люстра... – и прижимает к себе, но неудобно ж под девкой, да и лампы в глаза светят. – Дай выключу...

– Нет... – тихо, а сама – к Лешкиной шее. Целует, а ему бы уже к делу перейти. Тут еще люстра проклятая...

– Светит прямо в глаза, – напряженно.

– Выключишь – меня не увидишь, – вот так просто прошептала, а Лешке дурное в голову: если выключит свет – уже больше никогда не прикоснется к молодой жене.

– Пусть светит... – прохрипел. И – поплыло.

И поплыло ж. Маруся глаза закрыла – исчезло все. Ничего вокруг – ни люстры, ни ветра из окна открытого, ни случайного комара на плече... Ничего. Только он и она. Слились – одно тело, одно, не разлучить, не разорвать. Доверилась. На простыню откинулась, он – на нее. Всем телом. Так лучше. Так правильнее. Мужчина всегда... всегда должен сверху быть. Слились. Не разорвать, и только словно барабаны нездешние, резкие внутри подгоняют – все быстрее, быстрее, быстрее!

Лешка зацеловывал белые щеки, тянулся к шее... Стыць! Встряхнуло. Барабаны оборвались. Что это? Губы натолкнулись на холодные коралловые бусинки. Схватил кораллы и – с шеи. Мраморная... Прекрасная... Голая... Нежная, как молоко. Ничего красного! Зачем кораллы?

Маруся замерла, ухватила за намысто и открыла глаза. Так близко Лешка еще никогда не смотрел в эту черную бездну.

– Ты чего? – задохнулся. Барабаны... Быстрее, быстрее... – Не останавливайся, Маруся! Не сейчас!

– Нет... – прошептала. Настороженная. Глаза прищурила. Жжет.

Отпустил. Не до намыста дурацкого. Пусть бы хоть ватник напялила, только бы не останавливалась.

– Ладно... Пусть... – согласился с недоумением и припал к Марусе.

«Скрип-скрип-скрип», – не смолчала кровать с панцирной сеткой. «Шш-шш-шш-шш», – терлись друг о друга коралловые бусинки на Марусиной шее.

Когда молодые обессилели, раскинулись на кровати и наконец смогли улыбнуться – в люстре щелкнула и погасла лампочка. Маруся рассмеялась.

– А хоть и все три!

Словно ей в ответ заморгали и погасли и две остальные.

– Что это? – удивился молодой с высшим экономическим образованием.

– Напряжение, – сказала Маруся.

– Напряжение... – прижал ее к себе. – Так зашкаливает, что оторваться от тебя не могу.

– А я тебя никуда и не отпущу, – ответила Маруся.

– Да когда-нибудь придется, – не вовремя вспомнил о работе и вообще – о белом дне.

– Когда-нибудь мы умрем...

Степка Барбуляк приперся в клуб среди ночи, когда про молодых уже забыли не только гости, но и родные мамы. Ракитнянцы доедали запеченных кур, допивали горилку и, обнявшись деликатно и невинно, пели грустные песни. Ганя с Орысей собирали в большие миски и казаны нетронутые колбасы, жаркое, кур и гусей, оставляя на столе в первую очередь то, что быстро портится. Хозяечки. В Ракитном все такие.

– О! Немец! – удивился Лешкин дружка Николай. Бросился к бутылке. – А за молодых! За молодых! Ты где потерялся? Мы тут... А ты...

Налил полную стопку, Степке протянул.

– А что в руках? Брось! Пить будем. За молодых!

Степка вертел в руках большую коробку конфет и все оглядывался.

– Так это... куда ее? Поздравить хотел. Куда ее теперь?

– Съедем! – захохотал Николай и – к коробке, но Орыся – тут как тут.

– Давай мне, Степан. Спасибо за поздравления. Я молодым передам.

Степка отдал Орысе коробку, заглотил стопку горилки, заел огурцом, поправил очки.

– Пойду, наверное...

– Да подожди! А «горько»?! – разошелся пьяный Николай.

– Кому – «горько»? – хмыкнул немец. – Может, мы с тобой поцелуемся?

Николай задумался, вдруг усмехнулся, словно изобрел нечто невероятное, оглянулся, Степку обнял и зашептал ему на ухо:

– Слышь, немец! А пошли к молодым... Станем под окном и ка-а-ак гаркнем им «горько»! Пусть в кровати подскочат! А?! Люди говорят, если во время этого дела хлопка с девкой напугать, так хлопец свой болт из девки вытянуть не сможет. Вот это будет забава!

– Пошли, – на удивление быстро согласился рыжий Степка. Попросил: – Только еще налей.

– С собой возьмем, а то еще задержимся, молодые уснут и пропадет забава! – постановил Николай, засунул в карман пиджака бутылку горилки, накидал на тарелку огурцов и кольцо колбасы, ткнул немцу в руки. – Будешь закусь нести.

И поперлись. Немец на пороге клуба остановился.

– Подожди! Сейчас... – и обратно в клуб. Со стола конфету шоколадную ухватил, в карман положил. На порог вышел.

– Эй, Колька... Ты где?

Под вербой возле клуба сладко храпел Лешкин дружка. Немец горько вздохнул, опустил голову и присел рядом с Николаем. Достал бутылку горилки из его пиджака, открыл... Оторвался, когда ни капли не осталось.

Следующим утром уже и солнце на небе показалось, уже и гости вновь потянулись к клубу, чтобы забаву продолжить, а молодых – нет и нет.

– Что-то они не очень торопятся, – нарисовался Николай. Предложил: – Давайте я за ними сбегаю.

– Да что ты все «сбегаю, сбегаю»! – возразила Орыся. – Стой и не рыпайся! Сами придут. Первая ночь... особенная. Зачем их лишний раз дергать? Может, они сейчас, как голуби, натешиться не могут.

...Голубь Лешка Ордынский голышом сидел на кровати и ошеломленно смотрел на белую, как предательство, простыню. А где... Где кровь невинности, чистоты и...

Покраснел, будто кто-то ему пощечину дал.

– Маруся...

Лежит на кровати у стены, коралловое намисто на белых грудях перебирает и улыбается мечтательно, да не ему, своему мужу законному, а куда-то – в даль дальнюю, словно там ее счастье, словно бы полетела к нему, словно... чужая.

– Маруся... Слышишь?

На мужа глянула.

– Вот я... Твоя Маруся...

Лоб рукой потер, будто от этого вопросов меньше стало, отважился:

– А это... почему простыня чистая? Должна бы... – и умолк.

– Я чистая, вот и простыня чистая, – и в глаза ему внимательно смотрит: веришь?

– Подожди... Не то говоришь... У тебя кто-то...

– Ночью, Леша, каждая девушка свою звезду видит. Одна к ней тянется, другая – за собой зовет, а третья – смотрит на нее и все тут. А ты думал, на всем небе ты один сияешь, как солнце?

– погоди... Да что ж это... Не путай меня, Маруся! – и нотки грозные в голосе. Наконец. Наконец вспомнил, что мужик!

– Сам себя путаешь.

– Да как же...

На локте приподнялась, серьезной стала.

– Давай повенчаемся, – попросила. – Богу поклясться – не закорючку в сельсовете поставить...

– Шутишь или уничтожить меня захотела? Я – коммунист... Меня за это...

Погасла, отвернулась. Он – с кровати. В брюки вскочил, по комнате забегал. Остановился – и к Марусе. За руку схватил, сжал, запястье даже покраснело.

– Говори, а то убью!

– Твоя я.

– Точно?

– А еще с высшим образованием! – рассмеялась через силу, а рука уже посинела.

Испугался. Руку отпустил, целует ее.

– Прости меня... Любовь моя... Жить без тебя не могу. Мир перевернулся. Умоляю – правду скажи. Если там что-то и было... Прощу! Клянусь – прощу, только не лги, Маруся! Слышишь? Не лги! Был кто-то?

– Твоя я... – оттолкнула мужа, с кровати встала. – Книжек тебе накуплю. Учебник медицинский. По гинекологии. Может, поумнеешь и перестанешь меня за руки хватать.

– А что? Бывает как-то иначе? – ухватился за сомнение, как за соломинку.

– Бывает, – отрезала.

Всю неделю Ракитное гуляло и догуливало Марусину и Лешкину свадьбу. Неделю молодые при гостях быстренько целовались, выпивали по чарке и исчезали в Марусиной комнатухе с настежь открытыми окнами.

– Я Лешку понимаю! – размышлял Николай, когда ракишнянская молодежь собиралась около клуба и все сплетничала про пышную и красивую свадьбу.

– Стыд бы имели, – раздражалась горбоносая Татьяна. – Неужто им ночи мало?

– А вон они! Плынут наши рыбы! – радостно воскликнул баянист Костя, когда на пятый день еще хотелось выпить, а без молодых на халаву уже никто не наливал.

Глянули ракишнянцы – точно! От Марусиной хаты чешут молодые – Маруся в цветастом платье, просто светится, Лешка пиджак на плечо закинул и молодую жену под руку ведет.

– Куда это они? – заволновался Николай, потому что его, как и баяниста Костю, мучила жажда, а без молодых... Ну, не наливали, чтоб им пусто было!

Лешка с Марусей вышли со двора на улицу и остановились.

– А может, вернемся? – Лешка хитро глаз шурит. Вот, кажется, наелся за эти дни Маруси – аж через край, а только представит себе ее тело голое манящее, снова бы...

Маруся краешком губ – да как хочешь! И – к дому. А он смеется, за руку ее, к себе.

– Ну хорошо, хорошо... Пройдемся!

Она равнодушными глазами по улице повела.

– А я бы и вернулась.

Лешка смеется.

– Вот прямо тянешь меня в постель, ненасытная.

Маруся уже и головку мужу на плечо положила, уже и к дому шаг сделала, да заметила – на лавке у своего двора худой немец уселся, «Пегас» закурил и в землю пялится.

– А и пройдемся! – И потянула Лешку по улице. Под руку подхватила, спина выгнулась, подбородок – выше, выше...

Лешка пиджак поправил – с такой женой не то что по улице пройти не стыдно, а хоть по Парижу. Идут, улыбаются...

– Подожди, Маруся, – говорит Лешка жене молодой. – Пойду с немцем поздороваюсь.

– Идем вместе.

Немец услышал шаги раньше, чем увидел Марусю и Лешку. Глаза напряг, очки поправил, встал... Стоит около лавки как прибитый.

– Привет немцам! – Лешка Степке ладонь протянул, пожал крепко. – А что это ты на нашу свадьбу не пришел?

– Был... – затянулся сигаретой, глаза отвел. – Это вас уже не было.

Лешка смеется, на Марусю хозяйским глазом.

– Да нас бы и сегодня не было... Вот я бы еще недели две с кровати не вставал, да жена, вишь, уперлась – дайте ей по улице пройти, свежим воздухом подышать. Так, Маруся?

Молчит Маруся. Усмехается. На немца смотрит и коралловое намысто на груди перебирает. Степка покраснел и упал на лавку.

– Ну, ну... Потерпи уже. – Лешка Марусю обнял. – Какая же ты у меня горячая... Вот покурю и пойдем.

К немцу наклонился.

– Дай, Степа, прикурить женатому мужчине! – Обручальное кольцо немцу показывает и сигаретой к нему тянется.

Немец со своего окурка пепел стряхнул, Лешке протягивает, а сам – глаза в землю.

– Давай, немец! Будь здоров, не кашляй! – Лешка попрощался со Степой, согнул руку – мол, цепляйся, жена, пойдем уже.

Маруся молча взяла мужа под руку, и молодые пошли к клубу. Степа только и видел, что их ноги. Головы не поднял. Когда уже далече отошли, немец как-то неловко поднялся с лавки, бросил окурки под ноги и молча побрел в свой двор. Возле хаты остановился, достал из кармана конфету и выбросил прочь.

– Не понадобится, – пробормотал.

Сел на пороге и снова закурил.

«Помру я без нее, – подумал спокойно и горько. – К ней теперь и не подступиться». Почему-то вспомнился покойный отец, которого раkitнянские бабы все за вдов сватали, а он только плевал им под ноги, мол, отцепитесь уже, и одно талдычил, что была уже у него жена – Ксанка. «И зачем мне новая жена, когда я старую забыть не могу?» – не понимал калека.

«Помру я без нее», – подумал снова. Отец хоть пожил с мамой, а ему... Что – ему? Ночи.

Им лет по двенадцать было, когда однажды летней ночью немец как всегда, без надежд и ожиданий, принес конфету, положил ее на подоконник открытого Марусиного окна и уже хотел рвануть прочь, потому что наивно верил, что Маруся не догадывается, кто из ночи в ночь столько лет таскает ей сладости, как из открытого окна выглянула девочка. Немец убежал бы, но на тонкой шее в лунном свете увидел коралловое намысто и отчего-то замер, как последний дурак, заморгал, только и успел за вишню во дворе спрятаться.

– Немец... Это ты? – услышал тихий шепот от окна.

«Ну все. Задразнит!» – испугался и таки собрался бежать, однако ноги сами понесли к окну.

– Привет, Маруська, – буркнул, очки поправил. – А я вот на ставок иду... За рыбой... Дай, думаю, по дороге вишен натрясу у Маруськи. У вас вишни немаленькие, – и умолк. – А ты почему не спишь? Спи уже. Вон ночь на дворе.

– Известно, что ночь, – шепчет. – А ночью девушку звезда согревает...

– Как это? – не понял.

– Полезай в окно, – приказала.

– Зачем? – испугался.

– Потому что одна девушка на звезду смотрит и все, другая к ней тянется, а третья к себе манит...

Степка залез в комнату, от страха и непонятного волнения присел под окном. Маруся присела рядом и прошептала:

– Вот, немец, смотри мне! Если на другую глянешь – так все твои конфеты тебе прямо в рожу полетят.

– Да не гляну, – смутился.

– Клянись!

– Чтоб меня на куски разорвало!

– Что это за клятва такая дурная?

– Сама ты дурная! У меня маму гранатой разорвало.

– Ладно. Пусть тебя разорвет на куски! – согласилась.

– Не разорвет, – заволновался, очки снял, дышит на стекло, чтоб видеть лучше, а дело не в стекле, видимо. Встал. – Так я пойду?

Маруся что-то там себе покумекала, напротив немца стала, глаза закрыла.

– Можешь поцеловать. Но только раз.

– Хорошо, – растерялся, губы вытянул, Марусиной щеки едва коснулся, отшатнулся. Девочка глаза открыла, брови сердито сдвинула, мол, что же ты делаешь, дурачок?!

– Теперь я, – серьезно.

Плечиком повела, подбородок – выше, к немцу потянулась и просто в губы – цем! Поцеловала и уста не отняла. В Степкиной голове – десять звонарей и дударь с дудкой, да все вместе – как заиграли! И мир перевернулся. Руками пошевелил... На месте. Не отняло. Вздрогнул, Марусю обнял, уста близкие целует, как может, а одного только хочется – бежать

за тридевять земель, спрятаться ото всех, и от Маруси – тоже, и плакать от неожиданного и невероятного счастья.

Маруся Степку за плечи взяла, отодвинула.

– Хватит... Теперь уходи...

– Маруська, я тебя люблю, – прошептал отчаянно.

– Смотри мне! Люби! – приказала.

В соседней комнатке во сне вздохнула Орыся. Немец перепугался до смерти и выскочил в окно. Сколько раз позднее он вот так прыгал в ночную темь Марусино двора? И не припомнить теперь.

Когда немцу исполнилось четырнадцать, калека Григорий слег и уже не поднялся. За жизнь не цеплялся, но умирал тяжело, словно чьи-то грехи отработывал. Хрипел на кровати у окна и все звал Ксанку. Ракитнянские бабы взяли его под свою опеку, гнали Степку из дома, мол, не рви душу, бедолага, все равно не поможешь, но немец все сидел около отца как привязанный вплоть до того позднего вечера, когда Григорий вдруг открыл глаза и прошептал тихо и четко:

– Сходи... К рыбе... своей...

– А и то, – подхватили бабы, предчувствуя близкий конец. – Сходи, Степа, на ставок... Чего в хате сидеть? Рыбы наловишь, отца порадуешь...

Сколько раз после смерти отца Степка все думал и думал над его последними словами и никак не мог понять их скрытого смысла, потому что не мог знать калека про Марусю. Никто не знал.

– Хорошо... Пойду... – встал.

Тетку Орысю увидел у дверей, смутился, голову опустил:

– Я быстро...

Луна тревожила черную ночь холодным белым сиянием, гасила звезды, касалась верхушек деревьев и крыш, и казалось, звезды померкнут, деревья и крыши сейчас запылают таким же белым холодным пламенем, станут пеплом и навеки растают, оставляя властвовать в бескрайней тьме только это холодное жестокое светило.

Степка дошел до сиреневого куста, увидел в открытом окне силуэт – бледные до голубизны голые руки, плечи... И намысто – аж черное в лунном свете. Вздохнул горько и впервые пошел к Марусиному окну не прячась. Заскочил в комнату, упал на пол под окном, прошептал:

– Маруся... У меня отец так сильно болеет... А если помрет?

– Выздоровеет. – Маруся присела рядышком, прижалась к немцу.

– А вдруг помрет?... Меня ж тогда... в интернат... от тебя...

– Нет!

Со двора слышались шаги. Степка напрягся, на Марусю испуганно зыркнул.

– Замри... – прошептала, к окну стала. – Мама?

К окну подошла заплаканная Орыся.

– Гришка Барбуляк помер, – сказала.

Маруся замерла. В комнатке под окном в ее ногу вцепился Степка Барбуляк, сжал судорожно челюсти, чтобы не закричать.

– Я к Старостенко... – всхлипнула Орыся. – Сообщить... А ты, доченька, беги к бабе Чудихе... Скажи, пусть идет к Барбуляковой хате да хоть какую-то молитву над покойным прочитает...

– Не пойду...

Орыся зыркнула на дочку удивленно.

– Э, девка! Не время фокусы показывать. У людей горе...

– Не пойду, – прошептала упрямо.

- Да что с тобой, Маруся?! – рассердилась Орыся. – А ну быстро к Чудихе!
- Не пойду! – отчаянно выкрикнула. – ...Боюсь!
- Тыфу на тебя! Боится она... – махнула рукой Орыся и побежала со двора.

Маруся провела мать взглядом, наклонилась к немому, окаменевшему немцу, что так и сидел на полу, вцепившись в ее ногу. Погладила по рыжим волосам. Задержала дыхание, словно дыхание могло разрушить неожиданную необъяснимую гармонию...

- А дай-ка... – рукой к пуговице на сорочке.

Вздрогнул, глянул на нее беспомощно, как дитя малое. Расстегнула. Рядом с немцем на пол уселась. Брови сдвинула – думает... Выдохнула.

- А дай-ка... – задрожала. Потянулась к нему. Коснулась губами голой шеи.

Напрягся. Очки снял – диво! Все расплывается вокруг, только Марусю видит, да так четко, словно наилучшие очки на носу. Рукой – по черным косам. На плече зацепился за какую-то лямку, дернул – легкое платишко сползло, оставило на голой груди только красные бусинки. Маруся странно усмехнулась, осторожно взяла красные кораллы. Намысто натянулось... Она припала к Степке и накинула намысто на его шею: одно на двоих, судьба-хомут. Впряглись – тяните! Дальше, чем на вздох, – не отойти. Ближе, чем сейчас, – не бывает.

Намысто врезалось немцу в затылок, но он не ощущал боли. Как в нереальном сне намысто тянуло его на пол, на Марусю – такую испуганную и такую отважную. Разлетелась одежда, сверчки за окном вдруг умолкли, и весь мир стал единой первозданной силой, помогающей двум юным созданиям преодолеть непонятный, радостный, отчаянный страх.

Неожиданно немец почувствовал себя невероятно сильным. Он не понимал, да и не пытался понять, откуда вдруг взялась эта богатырская сила, что заставляет его действовать не поспешно, а уверенно и нежно, в одном ритме с биением сердца.

Когда наконец оторвался от Маруси, увидел на полу кровь. А в Марусиных глазах – слезы. Испугался.

- Маруся... Я тебя обидел?
- Нет, – прошептала.
- Кровь... – испугался еще больше.
- Так бывает...
- Ты же плачешь?
- Вот такая глупая! – засмеялась тихо. – Сердце радуется, а я плачу...

Немец вдруг вспомнил слова тетki Орыси под окном. Отец... На Марусю виновато глянул.

- Беги, – прошептала. – Да смотри... На интернат чтоб не соглашался...

Немец прыгнул в окно и, прежде чем ноги коснулись земли, почувствовал необыкновенную свободу полета. Поднял голову – луна исчезла, словно и не было. На целом небе сияла одна звезда.

– Убегу! Хоть на край света меня отправляйте – все равно убегу. Мне из Ракитного нельзя, – хмуро отвечал Степка председателю Старостенко, когда калеку Барбуляка похоронили и встал вопрос – что делать с его сыном.

Старостенко поворчал, поворчал, но опекунство над несовершеннолетним Степкой оформил по всем правилам.

– Это ж не война, чтоб хлопца в интернат упрятать, – объяснил жене. – Пусть живет с нами.

Но Степка переезжать к председателю отказался наотрез. Сам хозяйничал в родительском доме, да так умело, что через полгода председатель уже не бегал каждый день проверять, как там его подопечный.

Когда восемнадцать стукнуло и в военкомате поставили крест на желании Степки послужить в армии и, может, хоть тем доказать, что зря ракишьянцы его немцем дразнят, он встретил как-то Марусю на улице и сказал:

– Маруся! Может, давай и днем встречаться? В клуб бы там ходили, на танцы или просто... Зачем прятаться?

– Я? С тобой? – рассмеялась. – Да ты сдурел, немец?

– А почему ж... – хотел спросить, почему ж ночью ласкаются, как ненормальные, да не отважился.

– Что это ты? – нахмурилась.

– Да ничего. – Глаза в землю.

– Может, скажешь еще, что не любишь меня? – С вызовом.

– Люблю, – прошептал.

– Так зачем ты мне голову морочишь? – Маруся махнула косами и пошла к конторе. Как раз секретаршей к председателю устроилась, очень этим гордилась и к работе относилась ответственно – во всяком случае, и на минутку никогда не опаздывала.

И тогда в первый и последний раз за все годы их удивительного тайного романа немец осмелился днем сказать Марусе больше, чем десять слов. Она пошла, а он поковырял ботинком землю, спохватился и бросился догонять.

Ох и не понравилось это Марусе! Остановилась, уничтожила взглядом и спросила, словно пощечин надавала:

– Да что это ты, Степка, за мной ходишь? Не хватало еще, чтобы люди сплетничать начали.

– Слышь, Маруся... – умолк, воздуха в грудь набрал. – А зачем я тебе ночью, если днем...

– Что ты, немец, путаешь грешное с праведным. День... Он для работы. И на небе, если туч нет, так только солнце. А ночью каждую девушку своя любовь-звезда согревает.

– Зачем же любовь в ночах прятать? Любовь – это же красота.

Горько глянула.

– Для людей, Степа, красота – то кровь с молоком. А мы с тобой – молоко с кровью. То же самое, а люди заплюют. Понимаешь?

– Нет...

– Так и не приходи больше никогда, крот слепой! – рассердилась. И пошла к конторе. Немец так и остался посреди улицы. Голову поднял – солнце.

– Помру я без нее, – поставил в воспоминаниях точку. Снова закурил. – Нужно утопиться. Точно. Вот пойду ночью под сирень, на окна ее гляну и – на ставок. Утоплюсь.

Ракитное спало, потому что натрудилось за день, как проклятое. Все спало – и люди, и куры, и свиньи, и коровы, и собаки с котами, и даже мыши, потому что нигде и тихого шелеста не услышишь. Казалось, эти куры со свиньями, коровами и даже малыми мышами знали, что люди за день все жилы порвали, вот и молчали, чтоб дать им отдохнуть.

Степка вышел на улицу. Тихо. Закурил и пошел к Марусиной хате. Под сиреневым кустом стал, «Пегасом» дымит.

– Вот и вся любовь, Маруся!

Из-под сирени на окно в последний раз глянул – закрыто. Усмехнулся – а как иначе?! Верно, муж приказал закрыть. «Прощай, Маруся! – подумал. – Записку после себя не оставляю. Кому писать? Некому. А ты... Ты и так все поймешь. Прощай!» Бросил окурочок под куст и хмыкнул: сколько же раз он тут вот так топтался, если окурочков целая горка высится?

– Да всю жизнь и протоптался, – пробормотал.

И пошел к ставку. Шагов десять сделал, а в раkitнянской ночной тишине оконце – скри-и-ип. Замер. Оглянулся. Просто так оглянулся. На всякий случай. Потому что тишина бескрайняя давила, за ноги цеплялась, словно сердилась на дурного хлопца, что шатается здесь, когда спать нужно.

Оглянулся... И помертвел – в открытом Марусином окне тихо звенело стекольце.

Немец не поверил. Протер очки, на нос напялил, всмотрелся – открыто! – и все равно не поверил.

– Вот, значит, решила посмеяться надо мной, Маруська? – вздохнул и дальше было к ставку пошел, но снова оглянулся: а ну как привиделось?

Да нет. Не привиделось. Открытое оконце. Ветерок занавеску наружу вытянул, играет, словно насмехается.

Степка воровато оглянулся и пошел к окну.

У сирени традиции не изменил: стал под куст, курил не курил, окурок бросил и отыскал старую дырку в таком же старом заборе. «А что они мне сделают?! – билось в висках. – Высмеют? Ну и пусть! Все равно все село надо мной смеется – немец-несчастье. Да и она! И она сама насмехается. Это ж надо – замуж выскочила, на улицу с муженьком выперлась, а сама передо мной намысто по груди катает. Сумасшедшая, не иначе. Чего хочет? И зачем окно открыла? Для меня? Да нет! Скорее всего, хочет Лешеньке своему показать, какой у нее верный раб есть, какую она себе прихоть завела было лет сто назад. Скорее всего. А я... А мне все равно. Мне вот просто интересно, зачем Маруська окно открыла. Издалека погляжу и пойду. Нет у меня времени в чужие окна долго заглядывать. Мне еще это... еще нужно успеть утопиться».

До окна – метра три, не меньше. Темно, хоть глаз выколи. Ничего не видно. Степка подкрался к раскидистой вишне, спрятался за нее и осторожно выглянул – никого. Потоптался минуту-другую. Только из-за вишни вышел, слышит – мужик захрапел. Да так душевно захрапел, что аж стекла в окнах задрожали. «Лешка, кто ж еще», – подумал Степка и уже было сделал шаг к дырке в заборе, как увидел Марусю: из окна во двор наклонилась, словно высматривает кого-то – и намысто коралловое с шеи свисает.

– А чего это ты не спишь, Маруся? Вон ночь на дворе. Еще не наигралась с молодым своим или уже ухайдокала его до ручки? – не то прохрипел, не то простонал.

– Да смотрю, немец куда-то по ночи чешет. Дай, думаю, спрошу, куда собрался?

– А пойду утоплюсь, – сказал Степка.

– А меня на кого? – Спину выровняла, подбородок – выше.

– Да на него! – мотнул головой в сторону комнаты.

– Так хоть заскочи попрощаться, – говорит вроде бы и серьезно, а немцу – один смех в ее голосе.

– Так когда?

– Так сейчас! – И вот вроде бы серьезно снова, а немцу хохот слышится. Рассвирепел: издевается румынка, даже умереть спокойно не дает.

– Смотри, Маруська! – прошептал люто. – Сама напросилась. Вот сейчас в окно влезу, назад не выпихнешь!

– И с чего бы это я тебя выпихивала? – снова серьезно.

Степка враз остыл, голова кругом, ноги слабые, и плакать хочется.

– Слышь... Маруся... Конец нам. Конец... Ты теперь замужняя стала.

Рот рукой прикрыла, рассмеялась тихо.

– Ох и болтливым ты стал...

– Да как же мы... В комнате этот, твой... спит.

– А я не сплю. – Наклонилась, приказала: – Давай уже...

Немец обо всем забыл. Забралась на подоконник и спустя миг исчез в открытом окне. И за этот миг таким героем себя почувствовал – словно вместо Гагарина в космос слетал. А в комнатку прыгнул – мама родная! На кровати Лешка храпит, у окна Маруся в одной сорочке с намыстом на шее, и вот между ними – он, как кизяк в проруби.

Закрутился на одном месте.

– Да... пойду, наверное, – шепчет и голоса своего не слышит.

Маруся улыбнулась, шагнула к Степке, закрыла ему рот поцелуем. Оторвалась. На Лешку кивнула.

– И ты бы меня на него покинул?

– Сама на него бросилась, – ответил горько.

– Чтобы не топился, – приказала Маруся.

– Все равно пропаду, – прошептал.

– А я тебя женю, Степа, – ответила. – Ровней будем. У меня – вот этот, а ты, например, Татьянку горбоносую возьмешь... А ночи – наши...

– Маруська, да ты... Румынка сумасшедшая, – испугался.

Она приложила палец к губам, мол, тихонечко мне, и опустилась на пол. Степкины ноги подкосились, будто обрадовались, – и так едва немца держали. Он опустился на пол рядом с Марусей и, пока ее быстрые руки нетерпеливо расстегивали пуговицы на его сорочке, осторожно отодвинул подальше Лешкину руку, которая упала с кровати и свисала прямо над Степкиным носом.

Через год снова лето запекло.

– И чего это ты, немец, все лыбишься? – спросил баянист Костя, когда однажды утром пришел в тракторную бригаду и увидел, как немец без печали в тракторе ковыряется.

– А по ком слезы лить? – подозрительно зыркнул Степка. Перестал улыбаться.

– А сам узнаешь! – Костя недобро оскалился и присел на колесо трактора. – Иди, немец! Получишь сейчас нахлобучку за все свои похождения.

Степка побелел, растерянно вытер замасленные руки о рабочие штаны и поправил очки.

– Ты того... Что такое? Куда идти?

– В контору, куда ж еще? – удивленно пожал плечами Костя. – Ради какого-то немца меня по бригадам бегать заставили!

– А что там, в конторе?

– Там и председатель, и секретарь парткома, и Лешка Ордынский... Он же теперь в хозяйстве второй человек после Старостенко. Ждут тебя, немец. Готовь сраку!

Степка вздохнул и побрел к конторе. «Да разве могло быть иначе? – горевал мысленно. – Кто-нибудь когда-нибудь, но узнать должен был... Что теперь будет? Хоть бы Марусю не трогали...»

На то время колхоз уже богатым стал. Новую контору в центре Ракитного возле клуба построил, начал колхозникам новые дома ставить, без печей – с газом. Степка остановился около аккуратно покрашенного белым заборчика, который охранял цветник вокруг конторы, и толкнул дверь.

В конторском коридоре темно, хоть глаз выколи: верно, скупенький Старостенко справедливо рассудил, что в коридоре дела не делаются, и решил сэкономить на электричестве. Степка прошел мимо нескольких закрытых дверей, за которыми шуршала бумагами колхозная элита – бухгалтерша, агроном, два животновода и инженер-механик, который и был немцу начальником, и обреченно остановился перед дверью кабинета председателя колхоза Матвея Ивановича Старостенко, потому что в Ракитном знали все – когда требовалось кого-то обуздать, так секретарь парткома Петр Ласочка и председатель сельсовета Панасюк соби-

рались вместе тут, в кабинете председателя колхоза Матвея Старостенко, и вот втроем без попыток и издевательств, а только одними своими словами так могли запилить норовистого, что тот выходил шелковым и послушным. Но чтобы попасть в кабинет председателя, нужно было пройти еще и через приемную. А в приемной сидела Маруся. И немец перепугался до смерти – стоит у закрытых дверей, а открыть их никак не решается.

– Немец! Ты чего дорогу загораживаешь? – горластая бухгалтерша без церемоний толкнула его в бок.

– Председатель... вызвал, – выдавил Степка.

– Так иди, тряся матери, – расходилась. – Вот босяки! Выдумают что угодно, только бы им не работать, а за трудодни так первыми глотки дерут!

Степка выдохнул и открыл дверь. Маруси в приемной не было. Тут дверь кабинета Старостенко открылась, в приемную выглянул председатель.

– О! Поминали волка, а он уже и тут, – смерил немца взглядом. – Проходи, Степан. Разговор имеется.

Степка напрягся и шагнул в кабинет председателя. Очки мигом запотели, но немец увидел – народа в кабинете больше троицы, которая обычно вытряхивала душу из раки-нянских горячих голов.

Председатель Старостенко прикрыл дверь и уселся за стол. На стульях у приставного столика сидели секретарь парткома Петр Ласочка, лысый, как бубен, и въедливый, как осенняя муха, около него, как и обычно, председатель сельсовета Панасюк – старый и уже к жизни не очень рьяный, напротив Панасюка деловито перебирал бумажки Лешка Ордынский в чистой, аж хрустящей, сорочке и пестром галстуке, рядом с ним поправлял очки на носу совсем незнакомый немцу, нездешний человек. А у открытого из-за летней духоты окна... А у окна стояла Маруся, и немцу почудилось, что бледная как призрак, настороженная, печальная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.